

Синица в руки

Влад. Приходько - 1996-160Кт-с8

НЕЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАМЕТКИ

Могло быть отмечено 90-летие Семена Кирсанова (5./18./9.1906. Одесса - 10.12.1972. Москва). Но никто не отметил. «Надежда была предметом восхищения в веках даже для многих известных писателей оказалась несбыточной мечтой», - сказал когда-то Роберт Бернс. После того, как советская империя вдруг, в единый миг рухнула в пропасть истории, на наших глазах произошла метаморфоза: видные и весьма заносчивые литераторы превратились в ископаемых.

Семен Кирсанов был сыном портного Исаака Корчика, что шил для царской фамилии. Еще в отрочестве проявил филологические способности и устремления романтика. Его «избранное» открывается стихами, написанными в 17 лет: «Скоро в снег побегут струйки, скоро будут поля в хлебе. Не хочу я синицу в руки, а хочу журавля в небе» (1923). В дальнейшем выяснилось, что автор, стоя на реальной почве, к поэзии чаще всего относился как к ремеслу, то есть хотел именно синицу в руки. Но иногда поглядывал и на парящего журавля.

На его вкусы и ориентацию роковое влияние оказала встреча с Маяковским образца 1924 года, когда футуристическое бунтарство было уже позади. Вместе с блистательным великаном-наставником на эстрадах разных городов малорослый Кирсанов декламировал свои, по его определению, «сильно оркестрованные» стихи. Его визитной карточкой остается пылкое посвящение Маяковскому: «Оди-чавшая яхта прорвала бока, растянула последние жилки и влетела в

открытое море, пока от волненья тряслись пассажирки» (1926). И другое, в духе экспериментального мичуринства: «То стужа ветку серебрит, то душит слякоть дряблая. Дичок привит, и вот - гибрид! Моегода, мояблоня!» (1935). Сегодня те, кто знаком с Ходасевичем, решат, что это перепев его стихотворения «Петербург», написанного десятью годами раньше: «И каждый стих гоня сквозь прозу, вывихивая каждую строку, привил-таки классическую розу к советскому дичку». Гибрид мояблоня оказался малосъедобным. Кирсанов то эпатировал, то смешил публику. Привлекал и раздражал словесной, ритмической игрой, то ваялой, то напористой. Откликался на злобу дня. «Бездушности» Бабеля противопоставил «душевность» автора «Чапаева». В 1927-м напечатал «разговор с Петром Великим». Новоявленный «Евгений» наивно хулил самого работающего из русских царей. За что ж? За то, что не он «тащил гранит для Невы». Так прямо и было сказано: «подчеркиваю - не вы!» Угрожал «монархическому нутру» Петра (читай: «бывшим») репрессиями: «если будете вы грубить - мы иначе поговорим, и сыщем новую, может быть, столицу для вас - Нарым!» Более поздние строки, в которых маяковец призывает расстрелять, как собак, подсудимых в политических процессах 1937-1938 годов, перечитывать очень стыдно. Но разве это его выдумка? Он ли единственный, кто - из страха - опозорил русскую литературу?.. В самое скучное и подлое время - в 1951-м - Кирсанов получил Сталинскую премию, кажется, 3-й степени, за

поэму о сталеваре-новаторе, что, опрокинув мировые нормы, «дал» рекорд. Тут тебе и партийные вожди, тени в тусклом луче литературного трафарета: «Сводку прочитав, консультантов вызвав, трубку с рычага снял Орджоникидзе. На столе тетрадь с данными о стали... - Дал? Ну как не дать? Дал, товарищ Сталин. Как стук дятла: дал, дать, дал...

В разные годы Кирсанов подвергался критике за «формализм». Говорят, Пастернак сказал такую фразу о Вознесенском: «Андрюша сначала был моим учеником, а потом стал учеником Цветаевой и Кирсанова». Вознесенский - тема другая, а вот сопоставление Цветаевой и Кирсанова поражает: трагическая Цветаева, легкомысленно увлеченная «футуристической игрой в бирюльки» (Мандельштам), сильно понижена соседством с выхолощенным муляжным мастером. Облагорожен ли соседством с Цветаевой Кирсанов? В 30-е он откестился от Пастернака «классовой» риторикой с элементом политического доноса: «Ну, Пастернака что корить? Он брел своей тропой - то с лордом Байроном курить, то пить с Эдгаром По... А нам яхшаться ль с баринком и петь ему тосты - хотя бы даже с Байроном или с Толстым?» Кирсанов отрекся от прививки культуры, не связанной с коммунистической утопией. Но и в этом разве он одинок? Разве мысли сии принадлежат ему? Разве не вещал «пролетарский» лирик Владимир Кириллов: «Во имя нашего Завтра - сожжем Рафаэля, разрушим музеи, растопчем искусства цветы», пока не был, во имя того же Завтра

с заглавной буквы, затоптан в ГУЛАГе. Разве Маяковский... впрочем, все это известно.

В послесталинскую оттепель Кирсанов выступил с поэмой «Семь дней недели» (1956), браня бюрократов «с каменными сердцами». Вписался в аур. Была даже буря в стакане воды. Через десять лет, к 60-летию, получил от властей высший орден. С 1954-го стал членом правления СП. Считалось, что в конце пути обрел дыхание, лиризм. Я никогда не умел почувствовать это. Вот и у курского соловья Николая Асеева та же параболоа.

И все же не поручусь, что в будущем не найдется у Кирсанова читателей. В его стихах по-своему отразилось время, в окаменевшем говне которого (как сказано у Маяковского) будут еще рыться, рыться. Претенциозные авангардизмы, похвальба эгоцентрика, впавшего в детство, близки сегодняшнему андерграунду, если относиться к нему как к искусству, а не как к жульничеству. «Икар снов - Кирсанов. - Красив он? - Рискован! В крови нас вон - искра! Новь риска и с краев снов арки. Кирсанов...» (из посмертной публикации в «Дне поэзии-1973»). Он жаждал славы Икара, журавля-экспериментатора. Он жаловался, что его окружают враги - трафаретные серии слов.

В конце 60-х Кирсанов сживал в цэдээльском кафе, молчаливый, сумеречный. В обществе слишком молодой и подозрительно быстро хмелевшей подруги, русской красавицы типа «спортсменка-тенисистка». Было между ними более тридцати лет разницы. Он выглядел не пережитившим природу обла-



дателем суперледи с пшеничным волосом, а потрепанным кенаром, что попал в цепкие когти хищницы. У него есть перевод из Гейне (он знал немецкий), очень хороший: «Жил старый царь на свете - угрюмый взгляд, седая прядь, да вздумалось седому жену молодую взять».

Не помню, чтоб я, хотя бы раз, подсел, хотя бы коротко поговорил с ним. Думаю, он вообще, по природе, не склонен был к общению, к открытости.

У него был рак челюсти. Он ездил в Германию, Францию. Врачи

разводили руками. Потом он умер.

Мой товарищ прозаик Тарловский рассказывал, что заглянул в ЦДЛ в день его похорон. Вошел в зал, пахнущий елкой. Там стоял гроб и сидел мальчик лет 10-12, поздний ребенок Кирсанова. Больше в зале не было никого. У Тарловского зануло сердце.

Суперледи с пшеничным волосом вскорости вышла замуж. А еще чуть позже погибла в автокатастрофе.

Владимир ПРИХОДЬКО.